

Леонид Андреев

# Памятник



# Леонид Николаевич Андреев

## Памятник

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=255722](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=255722)*

### Аннотация

«По Тверскому бульвару, по направлению к Страстному монастырю, шла женщина. Выражение «шла» не совсем верно, впрочем, определяло характер тех движений, которые проделывали ее ноги, стараясь удержаться на осклизлом покате аллеи и в то же время продвинуться вперед, к тому более светлому в окружающем сумраке месту, каким была Страстная площадь. Вот уже третьи сутки моросил мелкий, осенний дождь, не переставая ни на минуту...»

# Леонид Андреев

## Памятник

По Тверскому бульвару, по направлению к Страстному монастырю, шла женщина. Выражение «шла» не совсем верно, впрочем, определяло характер тех движений, которые проделывали ее ноги, стараясь удержаться на осклизлом покате аллеи и в то же время продвинуться вперед, к тому более светлому в окружающем сумраке месту, каким была Страстная площадь. Вот уже третьи сутки моросил мелкий, осенний дождь, не переставая ни на минуту. Воздух настолько был пропитан холодной, всепроникающей сыростью, что казалось, еще одна капля – и весь он обратится в сплошную, холодную воду, вплоть до низких иссера-темных облаков, непроницаемой пеленой отделивших скучную землю от высокого, спокойного неба с его мириадами равнодушных светил, о которых в этот момент забывала самая пылкая фантазия. Но подвигавшаяся женщина не обладала фантазией. Равнодушно предоставив грязному и мокрому, как гуща, подолу платья облипать мокрые ноги, она заботилась лишь о том, чтобы эти наиболее усталые части ее усталого тела не расползались далее пределов, полагаемых законами равновесия, и подвигали ее к светлому месту, в которое уставились ее глаза. Нельзя сказать, чтобы к этому месту ее влекла необходимость или какая-нибудь ясно осознанная цель. Тот

же дождь моросил и там на площади, у этих ярких фонарей; никто не ожидал ее и там, как никто не ожидал ее здесь. Цель же, которая выгнала ее сегодня наружу и бросила в середину сырости, холода и дождя, была равно достижима и там и здесь. Она вышла на работу и находилась в центре рынка того труда, одной из представительниц которого, официально признанной, она была. Но метеорологические условия невыгодно отразились на спросе. Второй уже раз проделывала она нелегкий путь по бульвару, не встречая ни души, даже сторожа, который, согнав ее с бульвара, мог бы внести некоторое разнообразие в однообразную прогулку. Все, кому мог понадобиться ее труд, сидели по портерным и кофейням, куда ей, мокрой, грязной и не имеющей гроша за душой, доступ был закрыт.

Ноги почти переставали слушаться, когда обладательница их добралась до памятника Пушкину и тяжело села на одну из окружающих его скамеек. Дальше идти было некуда. Глубоко передохнув и почувствовав минутное удовлетворение отдыха, женщина обвела вокруг глазами. Прямо перед ней тяжелой и угрюмой массой возвышался памятник. Дождевая вода каплями текла по черному, хмурому лицу, собиралась озерцами в глубоких выемках рукавов и ручейками стекала по складкам плаща. Наискось от женщины сидел какой-то человек. Собственно говоря, только путем наведения можно было догадаться, что это – человек. С внешней стороны это представляло собой огромный полотняный зонтик, из-

под которого виднелось нечто, напоминающее собой ноги. В присутствии последних убеждало то обстоятельство, что большие галоши, какие рисуют обыкновенно в увеличенном размере на вывесках, не могли находиться тут одни без содержимого. Все это – и галоши, и зонтик, и голые, мокрые ветви деревьев, сиротливо тянувшиеся к неприятному небу, оставались в этой мертвой тишине и неподвижности.

Первой подала признак жизни женщина. То, что называется мыслями, не входило в круг отправлений ее организма, и ее беспокоило неприятное ощущение. Ей захотелось покурить – взять папироску и раза три покрепче затянуться. Потребность в этом «затянуться» становилась все настоятельнее, пока наконец не подняла женщину с места и, без участия воли и размышления, не перенесла ее в соседство зонтика, недовольным движением откачнувшегося в сторону. На секунду из-под зонтика мелькнули острые, черные глаза, большой крючковатый нос и черные с проседью усы, с выражением негодования и обиды топорщившиеся кверху, – и вновь скрылись под серой полотняной поверхностью.

– Покурить нету? – прозвучал сиплый голос, странно нарушивший тишину и принятый женщиной за чужой. Но на самом деле он принадлежал ей.

– Нету, – после некоторого молчания глухо донеслось из-под зонтика.

Молчание.

– Пойдем со мной, – продолжал тот же сиплый голос, про-

изнесший эту формулу с видом такого безучастия, что ответа, очевидно, и не требовалось. Ответа и не последовало. Молчание.

– А деньги у тебя есть?

Моментально зонтик отдернулся в сторону и показались глаза, нос и усы, все вместе с свирепым видом уставившееся на женщину, а из-под усов послышался резкий, высокий голос, некоторыми звуками обнаруживавший недостаток зубов во рту незнакомца.

– И чего ты ко мне пристала? Что лезешь? Убирайся, пожалуйста. Привязываются ко всякому, – негодующей, плачущей скороговоркой высыпал незнакомец и вновь юркнул под зонтик, демонстративно дернув его. Но ни речь эта, ни жесты не произвели видимого впечатления на соседку, совершенно безучастно отвернувшуюся в сторону и через несколько минут возобновившую допрос в том же вялом и бесстрастном тоне.

– А чего ты тут сидишь?

Через минуту из-под зонтика последовал ответ в форме двух самостоятельных фраз:

– Привязалась. Смотрю.

– Чего же тут смотреть?

Пауза.

– Отвяжись. На памятник смотрю.

Женщина повела глазами на памятник, скользнула взглядом по его неподвижной и черной массе и равнодушно от-

вернулась.

– Да чего же на него смотреть?

С тем же энергичным движением зонтик отдернут в сторону.

– Господи боже! Ну, скажу тебе, зачем, – ну разве поймешь ты? Ну что тебе надобно, скажи на милость, – быстро сыпал словами обладатель зонтика, но сквозь негодующий и плачущий тон его голоса просвечивало желание поговорить. – Ну, знаешь ты, чей хоть это памятник-то?

– Знаю. Пушкина.

– Пушкина! – передразнил незнакомец. – А кто такой «Пушкин»? Околоточный надзиратель?.. Эх!.. – Он сделал движение, имевшее целью вновь скрыться под зонтиком, но раздумал и продолжал: – Пушкин был великий человек. А я вот сижу и думаю, почему один великий человек стоит на пьедестале, а другой вот тут под дождем мокнет и с тобой, умницей, разговаривает. Поняла?

– Как вас зовут?

– Поняла, называется! Алексеем Георгиевичем меня зовут. Алексеем Георгиевичем. Ну, это ты поняла?

– А меня зовут Пашей.

Алексей Георгиевич с видом страдания, точно его внезапно схватила зубная боль, передернул усами и носом и отвернулся. Но молчать было скучно.

– Ну, а ты чего сидишь? Чего домой не идешь?

– Домой? Хозяйка не пускает. Не платила.

– А обделать никого не пришлось? – с язвительной иронией скосил глаза Алексей Георгиевич на Пашу. То, что он увидел, было охарактеризовано им одним словом: «Экая лахудра!» В это понятие входило и лицо Паши, безнадежно, до унылости плоское и широкое с большими бесцветными и тупо-вопросительными глазами. Небольшой, задиравшийся вверх нос, имевший достаточно сил, чтобы подтянуть за собой верхнюю губу широкого рта, видимо, стеснялся своего возвышенного положения. Входил в это понятие и костюм Паши, в весьма отдаленной степени напоминавший о женском кокетстве, но не дававший возможности предположить, что хотя когда-нибудь он был нов, чист и сух.

– Куда же ты теперь пойдешь? – продолжал вопросы Алексей Георгиевич. – Куда, пойдешь, говорят? Видишь, какая погода?

Внешность Паши не оставляла сомнений, что она видела погоду, и этот вопрос был предложен лишь потому, что скотское равнодушие становилось Алексею Георгиевичу нестерпимым.

Молчание.

Алексей Георгиевич, сделав энергичный поворот, сел лицом к соседке и, переложив зонтик из правой руки в левую, распростер первую в воздухе с видом, долженствовавшим выражать полное недоумение.

– Скажи на милость – ну, за каким чертом живете вы на свете? Тьфу, гадость какая! Да что ты, одервенела, что ли? –



крикнул он, нагибаясь к широкому и безучастному лицу. Не дождавшись ответа, Алексей Георгиевич махнул рукой и отвернулся. Потом засунул руку в карман, достал большие серебряные часы и посмотрел, который час. Потом стал топтать ногой и выражать другие знаки нетерпения. Несколько раз заглянув на Пашу, погрузился в размышления, состоявшие, впрочем, из одной, но чрезвычайно важной мысли: «Люди меня не слушают, и черт с ними. С ней хоть поговорю». Перспектива поговорить хотя бы с «ней» была так соблазнительна, что Алексей Георгиевич заерзал на месте и, стараясь придать своему голосу оттенок покровительства и солидности, не допускающей чего-либо фамильярного, сказал:

– Слушай ты, как тебя... Паша! Пожалуй, зайдем ко мне на минутку. Только ты не вздумай чего! – строго добавил он. – Просто, мне жалко тебя.

Паша, как бы ожидавшая этого предложения, молча поднялась и направилась по бульвару. Вскочил и Алексей Георгиевич, оказавшийся ростом ей по плечо. Длинное черное пальто мешком облекало его маленькую фигурку и сзади слегка похлопывало по большим калошам, когда он, семеня ногами, пустился догонять свою спутницу. Расползаясь ногами по мокрому песку, стучаясь друг о друга, шли по бульвару две эти фигуры – одна тяжелая, грузная, равнодушная, другая – маленькая, живая и нетерпеливая. Разговора не было. Раз или два Паша, чувствовавшая себя обязанной к любезности, заговаривала, но, не слыша ответа, умолкала. По

дороге Алексей Георгиевич зашел в лавку, купил водки, закуски и папирос.

Маленькая, но уютная и теплая комнатка, которую занимал Алексей Георгиевич в полуподвальном этаже большого дома на Грузинах, разом наполнилась запахом сырости и какой-то гнили, когда туда ввалилась Паша, не раздеваясь остановившаяся посередине комнаты, пока хозяин зажигал лампочку.

– Ну, ты, того, разденься, а то от тебя пар как от лошади! – приказал Алексей Георгиевич, старавшийся совместить обязанности гостеприимства с заботой не загрязнять чистенькую комнатку. Паша послушно разделась, оставшись в одной нижней юбке, а на голые плечи накинув платок, сурово поданный ей хозяином, во время раздевания усиленно возившимся над закуской и не смотревшим на гостью.

Выпили водки. Алексей Георгиевич употреблял ее очень редко, и в голове у него зашумело. Паша не то чтобы ожилилась, но по деревянному лицу ее стало пробегать что-то. Не то улыбка, не то намек на какую-то мысль или чувство. Алексей Георгиевич, как хозяин и кавалер, начал занимать Пашу, но дальше вопросов о том, сколько ей лет и давно ли она занимается своим делом, уйти не мог – не знал, о чем спрашивают. И с обыкновенными девицами Алексей Георгиевич затруднялся разговаривать так, чтобы им было приятно, а с этой халдой какой может быть разговор! Достаточно с нее того, что колбасу перед ней поставили. «Вишь, как

жрет-то!» – думал хозяин, следя за кусками, исчезающими в широкой пасти. Ему была противна эта жадность, но в то же время с каждым проглоченным Пашей куском увеличивалось расположение к ней и сознание прав на ее внимание.

– Ну ешь, колбасы много, – поощрял Алексей Георгиевич, наливая большие граненые рюмки. Сам он пил без закуски.

Выпили еще и еще.

Паша, с слегка осовевшими глазами, сидела, откинувшись на спинку стула, и с наслаждением затягивалась дымом дешевой папироски. Алексей Георгиевич, благосклонно сверкая колючими глазками, улыбался слегка презрительно и самодовольно:

– Ну что, как тебя... Паша! Рада? Не то что под дождем-то. А?

Паша вместо ответа сладко потянулась. Усмотрев в этом движении некоторое неуважение к его особе, Алексей Георгиевич нахмурился и поторопился перейти к серьезному разговору, сухо предупредив гостью о своем намерении. Выдвинув ящик стола, он осторожно вынул откуда различные бумаги и тетради, большие и маленькие, разясняя значение каждой из них.

– Видишь, вот это – роман «Отринутое сердце». Я его писал... сколько я его писал? Два года. Многие очень хвалили, люди знающие, – а вот не пошел, лежит...

Вот тут стихи. Я тебе потом прочту. Нет, лучше я сейчас одно прочту.

С недоверием взглянув на Пашу, но встретив внимательное, как казалось ему, лицо, Алексей Георгиевич приступил к чтению. Стихотворение, написанное рубленой прозой, изображало злоключения какой-то девицы, жившей на берегу Рейна в гордом и неприступном замке. Все дело, как поняла Паша, вышло из-за какого-то графа и цыганки, но при чем тут был верный слуга и по какой причине утопилась девица, осталось для нее не совсем ясным. Ей больше понравилось другое стихотворение, в котором автор на что-то очень чувствительно жаловался и говорил о могилке. Потом хозяин прочел что-то о красивом молодом человеке, который в лунную ночь поджидал какую-то девицу в лесу. Декламация Алексея Георгиевича не оставляла желать лучшего в смысле возвышенности и выразительности. Размахивая руками, вскакивая со стула, то тараща, то томно закрывая свои глазки, он поднимал колючие усы до того, что они грозили перелезть к нему на лоб, а подбородок напряженно опускал вниз – пока наконец все это, медленно разглаживаясь, не принимало своего естественного положения.

– «В сладкой тишине ночи, – читал Алексей Георгиевич, – напоенной ароматами весны, вдруг полилась трепетная, серебристая песнь соловья: тиу, тиу, тиу; дзон, дзон, дзон; фюить, фюить; ро-ро-ро...»

Паша несколько изумилась, а Алексей Георгиевич снисходительно пояснил, что песня соловья целиком взята им из ученой книжки. Понемногу Паше становилось очень весело,

и один раз она даже издала какой-то звук, весьма схожий с одобрительным хихиканьем, но Алексей Георгиевич так свирепо покосился на нее, что она умолкла и только всем телом подавалась назад, когда жестикулирующие руки поэта слишком близко придвигались к ее лицу. Много было прочитано и других стихотворений, и прозаических вещей, в которых автор с поразительной широтой взгляда затрагивал все темы, начиная с оды по поводу иллюминации и описания Куликовской битвы, кончая громовым обращением к каким-то родственникам, вопреки законам Божеским и человеческим не уплатившим поэту тысячи рублей приходившегося на его долю наследства. Последним было прочитано стихотворное рассуждение под заглавием «Что такое дворянин», доказывавшее, что умерших дворян необходимо хоронить на государственном счете.

– Ну что? – торжествующе спросил автор, дрожащей от пережитого волненья рукой наливая рюмки. – А ты говоришь, чего я смотрю на памятник.

– Вы, значит, тоже в книжках печатаете?

– Печатаете! Нужно говорить: пишете. Ну да, я писатель. Может быть, слыхала: Орлов?

– И деньги получаете?

– Деньги! Не в деньгах сила. Другой и деньги получает, а все у него чепуха. А тут слава. А вот за это я и деньги получил.

Алексей Георгиевич вынул небольшую тетрадку, в кото-

рой аккуратно были наклеены печатные вырезки. Там были небольшие театральные рецензии, повествовавшие о полном сборе и о том, что ансамбль никем не был испорчен; были заметки по поводу дурно вымощенных улиц; сведения о вновь разбиваемых скверах и приездах высокопоставленных особ, был один рассказ и стихотворение, поздравлявшее читателей с Новым годом. Но на этих печатных образчиках своего гения Алексей Георгиевич остановился ненадолго. Видимо, его сердце более тяготело к толстым тетрадам, каллиграфически исписанные (с одной стороны) страницы которых едва ли когда-нибудь видели свет, если не считать таковым полутемную каморку автора.

– Видишь, сколько написал! – с гордостью похлопал он рукой по тетрадам. – Вот где... слава-то!

Алексей Георгиевич опустил захмелевшую голову и задумался. Потом медленно приподнял ее и, устремив на Пашу продолжительный взгляд, от которого она отшатнулась, так был он упорен и странен, глухо, разделяя слова, произнес:

– А они говорят: «графоман»! Смеются! Старый, говорят, ты дурак, хоть и дворянин. А знаете вы, рабы презренные, какие тут вложены мысли? Ребятишек научили пальцами показывать: вот он идет, Орлов, – а кто знает, что случилось бы со всеми вами, если бы... Да, если бы вы узнали это! М-мерзавцы!

Алексей Георгиевич ударил кулаком по столу и зашагал по комнатке, вернее, завертелся по ней, так как одна нога его

описывала окружность, центром которой была другая.

– Ну, выпьем, что ли, ты, несчастная!

Паша, которую удар по столу укрепил в зародившейся в ней мысли, что «он» пьян – факт, с которым она встречалась ежедневно, с готовностью выполнила желание хозяина. «Скоро он кончит?» – проскользнула у нее мысль, свидетельствующая о том, что все происходившее она считала лишь прелюдией к тому неизбежному, ради которого ее, Пашу, поят и обогревают. Из чувства профессионального долга Паша нерешительно произнесла:

– Пойди сюда, цыпленочек...

Но, убедясь, что цыпленочек бегаёт и не слушает ее, равнодушно погрузилась в прежнее состояние приятного отдыха и спокойствия.

Сделав ещё несколько кругов, Алексей Георгиевич присел на стул и, дотронувшись рукой до колена Паши, с дружелюбной и в то же время жалко-просительной улыбкой заговорил, стараясь смягчить свой резкий, каркающий голос:

– Пойми меня, Паша... Пашечка. Ты женщина, ты можешь меня понять. Ведь есть же у тебя сердце. Измучили они меня, голубушка, душу мою вынули...

– Кто же это? – осмелилась спросить Паша, думая, что он намекает на злых родственников.

– Люди, вот кто! – закричал Алексей Георгиевич. – Ты думаешь, они люди! Звери они. Загрызли!.. А за что? За то, что горд я! За то, что я чин имею, что не склонился я на

их льстивые речи, не поклонился их кумиру. «Говори то да то». А ежели я свое говорить хочу? И буду говорить, хоть разопните вы меня. Видно, не сладка правда-то? Боятся они меня. Сперва хвалили. Талант, говорят, у вас, Алексей Георгиевич, далеко вы пойдете. А вот этого не хотите ли? Нет, этого мы не можем напечатать, тут мысли нет. Мысли нет! Ну, не мерзавцы ли?

Алексей Георгиевич скрипнул остатками своих зубов и, схватив Пашу за руки, наклонился к ней.

– Пашечка, милая, знаешь ли ты, что значит быть непонятым? – Алексей Георгиевич трагически отдернул голову назад и, снова приблизив к самым глазам Паши, зловещим шепотом окончил: – Быть непонятым до самой могилы! Понимаешь, – продолжал он все тем же шепотом, все крепче сжимая красные и потные руки Паши, – они смеялись надо мной. Они ехидно вышучивали меня. «Наш знаменитый Орлов!» А я все верил, все ждал... и вот теперь, когда зубы эти повывалились, когда смерть стоит у меня за плечами, – я знаю, что я не понят! Глуп я – так чего же вы прямо не сказали, сразу? Зачем, зачем влили вы этот яд в мою душу... Не понят. Да, не понят.

Алексей Георгиевич поспешил смахнуть с одного глаза слезу и торопливо ухватился за руку Паши.

– А вот куда я это дену? – продолжал он тем же шепотом, указывая на разбросанные по столу тетради. – Ведь там все. Все! Понимаешь ты! – крикнул он и вскочил с очевидной



целью сделать несколько туров по комнате.

– Э, да черта ты поймешь! – грубо бросил он Паше, оставившись перед нею в позе натуралиста, созерцающего червя. – На кого, главное, рассчитывал: она – девка, и я. Да, вот до чего довели. Что же, торжествуйте: «Знаменитый Орлов» и особа с Тверского бульвара. Ха-ха-ха! – хрипло рассмеялся Алексей Георгиевич и размашисто сел. – Ну, наливай, выпьем. Водка всех равняет.

Паша, расплескивая, торопливо налила. Она начала бояться хозяина. Пусть бы он ее побил, а то говорит, говорит – и все страшное.

– Ну чего глаза-то вытаращила? Пей, пока дают. Эх! – Голова Алексея Георгиевича, несколько раз мотнувшись в воздухе, поникла ему на грудь. Вся его маленькая фигурка, в аккуратных сапожках, в коротеньком, засаленном и потертом пиджачке, как бы сохранившем на себе следы всех приемных и редакций, где по целым часам терся и терпеливо ожидал его обладатель, – все было так детски жалко и беспомощно вопреки энергичному тону слов, что Паша осмелилась проговорить:

– Алексей Егорыч! Пойдемте, я вас в постельку уложу...

– Думаешь, пьян, заснул? Дура! Я еще и тебя перепью, – бодро взмотнул головой Орлов, но удержать на высоте ее не мог. – Я тебе, дуре, еще о памятнике расскажу. Каждый вечер сижу я против него и зимою и летом. Один он у меня, во всем свете один, больше и поговорить не с кем. Спросишь:

«Холодно тебе, Пушкин?» – «Холодно, ответит, Орлов». Заиндевел весь, черный... «Убили тебя люди, Пушкин?» – «Убили, Орлов». – «А памятник воздвигли?» – «Воздвигли!» – «И мне тоже будет!» Ну, покойник смеется, а другой раз пожалеет. А мне разве его не жалко? Душу его жалко. Заковали ее в железо, шевельнуться нельзя. И моя душа закована. Давит железо... Ох, давит!..

Алексей Георгиевич, понижавший голос по мере накопления чувства, остановился и, подняв на Пашу помутившиеся глаза, внезапно вскочил и, разрывая на груди рубашку, закричал голосом настолько громким и диким, что за перегородкой пошевелились.

– Водки давай, водки! Скорее... задыхаюсь!..

Трясушимися руками, шепча: «Господи Иисусе Христе!» – Паша налила рюмку и поднесла ее Алексею Георгиевичу, который, стукнув зубами о стекло, проглотил содержимое, а содержащее бросил в угол, где оно, жалобно звякнув, разлетелось на куски.

– Паша, Пашечка, пожалей меня, ведь я один. Всю жизнь не понят, умру... Будьте вы прокляты! Паша, одной тебе говорил. Женщин не знал. Паша, видишь, я плачу... Они смеялись! Голубушка, как тяжело жить на свете...

С глухим, не выходящим из горла рыданием Алексей Георгиевич упал головой на колено Паши, которая, одной рукой поддерживая тело напившегося гения, другой гладила его по плешивой седой голове и говорила, не обращая вни-

мания на крупные слезы, катившиеся вокруг ее возвышенного носика и, как в пропасть, скатывавшиеся в широкий рот:

– Ну, милый, ну не надо плакать. Меня тоже били. И мать била, и другие били. Меня тоже жалеть надо...

Из-за перегородки послышался стук и донесся заспанный голос:

– Вы долго там, черти, не утомитесь? Нужно людям и покой дать! Полунощники, нет на вас пропасти!

Паша бережно довела, почти донесла до кровати совсем обессиленного и раскисшего Алексея Георгиевича. Бормоча что-то невнятное, он лежал навзничь и смотрел полузакрытыми глазами в потолок, слабо отталкивая Пашу, снимающую с него сапожки, но вскоре замолк и уснул. Паша, побросав в угол кое-какого тряпья, свернулась клубком и, засыпая, долго еще шептала: «Господи, господи...» Ушла она, когда Алексей Георгиевич еще спал.

Несколько дней провалявшись в постели, Орлов отправился на обычное место к памятнику с сильной боязнью встретить там Пашу. Но ее не оказалось ни в этот, ни в следующие дни. Через две недели у одной из вечерних посетительниц бульвара Алексей Георгиевич спросил, не знает ли она, где живет Паша.

– Паша Лопастая? А ее в Екатерининскую увезли. Меня возьмите, старичок почтенный.

– Но, но! – надменно закинул голову Орлов. – Не извольте забываться.

И гордо засеменял к памятнику.

.....

«А все-таки жаль, брат Пушкин. Я еще многого не досказал».

*1899 г.*